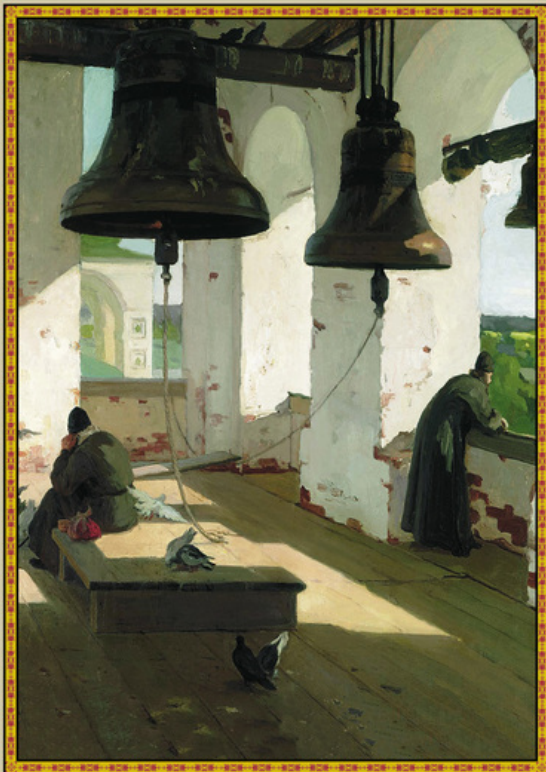


КЛАССИКА В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ



ИВАН ШМЕЛЕВ  
**ПРАВОСЛАВНАЯ РОССИЯ**  
БОГОМОЛЬЕ ~ СТАРЫЙ ВАЛААМ

**Иван Сергеевич Шмелев**  
**Православная Россия.**  
**Богомолье. Старый**  
**Валаам (сборник)**  
Серия «Классика в иллюстрациях»

*Издательский текст*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=7967808](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7967808)*

*Православная Россия: Богомолье. Старый Валаам: ОЛМА Медиа*

*Групп; М.; 2013*

*ISBN 978-5-373-05062-3*

### **Аннотация**

Иван Сергеевич Шмелев – величайший русский писатель XX века. В его произведениях открывается уникальный мир русских людей, жизнь которых согрета простой и сильной верой в Бога. В сборник вошли произведения, объединенные темой православного паломничества. В «Богомолье» описывается поездка героев книги на богомолье в Троице-Сергиеву лавру – древнерусский монастырь, основанный Сергием Радонежским. «Старый Валаам» посвящен паломничеству автора и его молодой жены в уникальную православную обитель – Валаамский монастырь. Перед вами интереснейшее описание жизни православных людей начала XX века, рассказы о

монахах-подвижниках, чудотворцах, о богомольцах-паломниках, прекрасных храмах. Произведения автора наполнены любовью к Родине, светом, добром и верой. *В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.*

# Содержание

Богомолье	11
Царский золотой	11
Сборы	37
Москвой	56
Конец ознакомительного фрагмента.	59

# Иван Сергеевич Шмелев

## Православная Россия:

### Богомолье. Старый Валаам

© ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», издание и оформление,  
2013

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

*Священной памяти короля Югославии  
Александра I<sup>1</sup>  
благоговейно посвящает автор.*

---

<sup>1</sup> Александр I Карагеоргиевич (1888–1934) – с 1921 до 1929 год король Югославии. Симпатизировал и широко помогал эмигрантам из России, деятелям науки и культуры, в частности Шмелеву

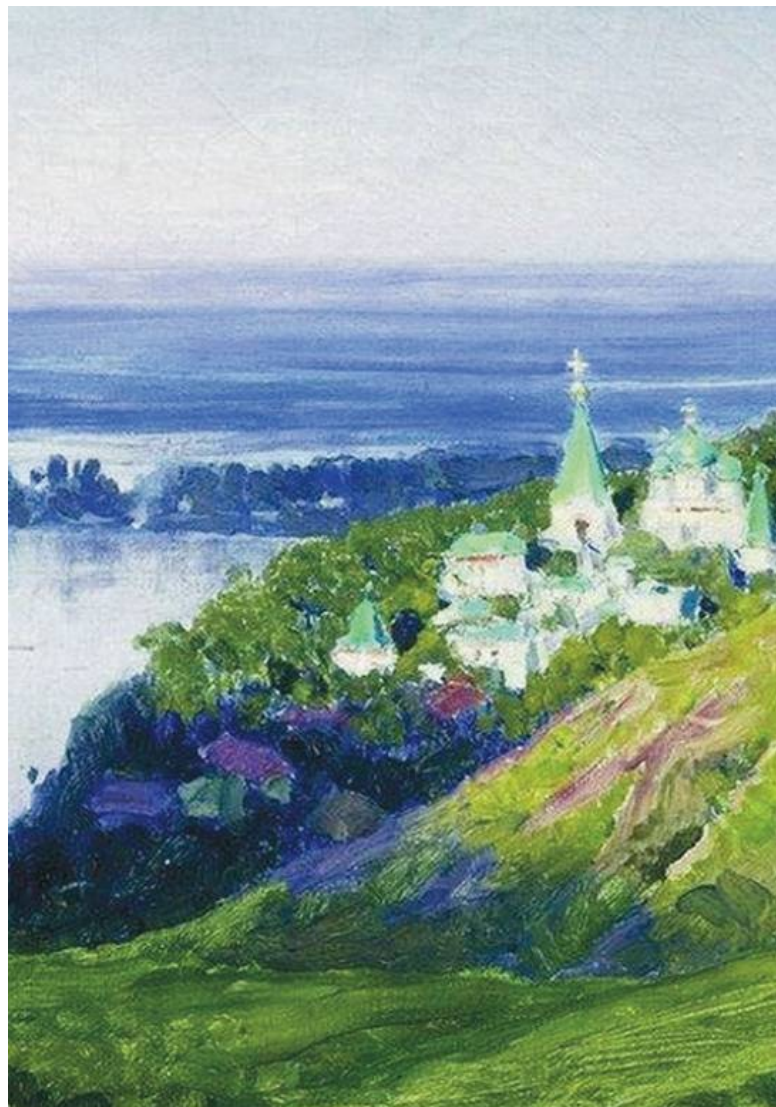
*О вы, напоминающие о Господе, – не умолкайте!*  
*Исайи<sup>2</sup>, гл. 62, ст. 6*

---

<sup>2</sup> Исайя – ветхозаветный пророк, живший между 759 и 698 годами до н. э. Ему приписывается создание одной из книг Ветхого Завета, в которой он призывает грешников к покаянию и обещает прозревшим последнее спасение.



# Портрет Ивана Сергеевича Шмелева



*Поленов В. Д.* Монастырь над рекой

# Богомолье

## Царский золотой

Петровки, самый разгар работ, – и отец целый день на стройках. Приказчик Василь Василии и не ночует дома, а все в артелях. Горкин свое уже отслужил – «на покое», и его тревожат только в особых случаях, когда требуется свой глаз. Работы у нас большие, с какой-то «неустойкой»: не кончишь к сроку – можно и прогореть.

Спрашиваю у Горкина:

– Это что же такое – «прогореть»?

– А вот скинут последнюю рубаху – вот те и прогорел! Как прогорают-то... очень просто.

А с народом совсем беда: к покосу бегут домой, в деревню, – и самые-то золотые руки. Отец страшно озабочен, спешит-спешит, летний его пиджак весь мокрый, пошла жара, Кавказка все ноги отмотала по постройкам, с утра до вечера не расседлана. Слышишь – отец кричит:

– Полуторное плати, только попридержи народ! Вот бедовый народишка... рядились, черти, – обещались не уходить к покосу, а у нас неустойки тысячные... Да не в деньгах дело, а себя уроним. Вбей ты им, дуракам, в башку... втрое ведь у меня получают, чем со своих покосов!

– Вбивал-с, всю глотку оборвал с ними... – разводит беспомощно руками Василь Василии, заметно похудевший, – ничего с ими не поделаешь, со спокон веку так. И сами понимают, а... гулянки им будто, травкой побаловаться. Как к покосу – уж тут никакими калачами не удержать, бегут. Воротятся – приналягут, а покуда сбродных попринайдем. Как можно-с, к сроку должны поспеть, будь покойны-с, уж догляжу.

То же говорит и Горкин, а он все знает: покос – дело душевное, нельзя иначе, со спокон веку так; на травке поотдохнут – нагонят.

Ранним утром солнце чуть над сараями, а у крыльца уже шарaban. Отец сбегает по лестнице, жуя на ходу калачик, прыгает на подножку, а тут и Горкин, чего-то ему надо.

– Что тебе еще?.. – спрашивает отец тревожно, раздраженно. – Какой еще незлад?

– Да все, слава Богу, ничего. А вот, хочу вот к Сергию Преподобному сходить<sup>3</sup> помолиться, по обещанию... взад-назад.

Отец бьет вожжой Чалого и дергает на себя. Чалый взбрыкивает и крепко сечет по камню.

– Ты еще... с пустяками! Так вот тебе в самую горячку и приспичило? Помрешь – до Успенья погодишь?..

---

<sup>3</sup> ...к Сергию Преподобному сходить... – в Троице-Сергиеву лавру, место паломничества православных, древнерусский монастырь, основанный Сергием Радонежским в середине XIV века Сергей Радонежский (ок. 1321–1391) является одним из наиболее почитаемых святых православной церкви.

Отец замахивается вожжой – вот-вот укатит.

– Это не пустяки, к Преподобному сходить помолиться... – говорит Горкин с укоризной, выпрастывая запутавшийся в вожже хвост Чалому. – Теплую бы пору захватить. А с Успенья ночи холодные пойдут, дожди... уж нескладно итить-то будет. Сколько вот годов все собираюсь...

– А я тебя держу? Поезжай по машине, в два дня упрaviшься. Сам понимаешь, время горячее, самые дела, а... как я тут без тебя? Да еще, не дай Бог, Косой запьянствует?..

– Господь милостив, не запьянствует... он к зиме больше прошибается. А всех делов, Сергей Иванович, не переделаешь. И годы мои такие, и...

– А, помирать собрался?

– Помирать – не помирать, это уж Божия воля, а... как говорится, делов-то пуды, а *она* – туды!

– Как? кто?.. Куды – туды?.. – спрашивает с раздражением отец, замахиваясь вожжой.

– Известно – кто. *Она* ждать не станет – дела ли, не дела ли, – а все покончит.



*Арну Ж. Вид Спасской башни*

Отец смотрит на Горкина, на распахнутые ворота, которые придерживает дворник, прикусывает усы.

– Чудак... – говорит он негромко, будто на Чалого, машет рукой чему-то и выезжает шагом на улицу.

Горкин идет расстроенный, кричит на меня в сердцах: «Тебе говорю, отстань ты от меня, ради Христа!» Но я не могу отстать. Он идет под навес, где работают столяры, отшвыривает ногой стружки и чурбачки и опять кричит на меня: «Ну, чего ты пристал?..» Кричит и на столяров чего-то и уходит к себе в каморку. Я бегу в тупичок к забору, где у него окошко, сажусь снаружи на облицовку и спрашиваю все то же: возьмет ли меня с собой. Он разбирается в сундучке, под крышкой которого наклеена картинка – «Троице-Сергиева Лавра», лопнувшая по щелкам и полинявшая. Разбирается и ворчит:

– Не-эт, меня не удержите... к Серги-Троице я уйду, к Преподобному... уйду. Все я да я... и без меня управитесь. И Ондрюшка меня заступит, и Степан справится... по филенкам-то приглядеть, велико дело! А по подрядам сновать – прошла моя пора. Косой не запьянствует, нечего бояться... коли дал мне слово-зарок – из уважения соблюдет. Как раз самая пора, теплынь, народу теперь по всем дорогам... Не-эт, меня не удержите.

– А меня-то... обещался ты, а?.. – спрашиваю я его и чувствую горько-горько, что меня-то уж ни за что не пустят. – А меня-то, пустят меня с тобой, а?..

Он даже и не глядит на меня, все разбирается.

– Пустят тебя, не пустят... – это не мое дело, а я все равно уйду. Не-эт, не удержите... всех, брат, дедов не переделаешь, не-эт... им и конца не будет. Пять годов, как Мартына сохранили, все собираюсь, собираюсь... Царица Небесная как меня сохранила, – показывает Горкин на темную иконку, которую я знаю, – я к Иверской<sup>4</sup> сорок раз сходить пообещался, и то не доходил, осьмнадцать ходов за мной. И Преподобному тогда пообещался. Меня тогда и Мартын просил-помирал, на Пасхе как раз пять годов вышло вот: «Помолись за меня, Миша... сходи к Преподобному». Сам так и не собрался, помер. А тоже обещался, за грех...

– А за какой грех, скажи... – упрасиваю я Горкина, но он не слушает.

Он вынимает из сундучка рубаху, полотенце, холщовые портянки, большой привязной мешок, заплечный.

– Это вот возьму, и это возьму... две сменки, да... И еще рубаху, расхожую, и причащальную возьму, а ту на дорогу, про запас. А тут, значит, у меня сухарики... – пошумливает он мешочком, как сахарком, – с чайком попить-пососать, до-

---

<sup>4</sup> ...к Иверской сорок раз сходить... – Имеется в виду икона Иверской Божьей Матери, величайшая святыня Афона, точная копия которой была привезена в Москву в 1648 году. Хранилась в часовне у Воскресенских ворот Красной площади; часовня была разобрана в 1930-е годы.

рога-то дальная. Тут, стало быть, у меня чай-сахар... – сует он в мешок коробку из-под икры с выдавленной на крышке рыбкой, – а лимончик уж на ходу прихвачу, да... ножичек, поминанье... – сует он книжечку с вытесненным на ней золотым крестиком, которую я тоже знаю, с раскрашенными картинками, как исходит душа из тела и как она ходит по мытарствам, а за ней светлый Ангел, а внизу, в красных языках пламени, зеленые нечистые духи с вилами. – А это вот, за кого просvirки вынуть, леестрик... все по череду надо. А это Сане Юрцову вареньица баночку снесу, в квасной послушание теперь несет, у Преподобного, в монахи готовится... от Москвы, скажу, поклончик-гостинчик. Бараночек возьму на дорожку..

У меня душа разрывается, а он говорит и говорит и все укладывает в мешок. Что бы ему сказать такое?..

– Горкин... а как тебя Царица Небесная сохранила, скажи?... – спрашиваю я сквозь слезы, хотя все знаю.

Он поднимает голову и говорит нестрого:

– Хлюпаешь-то чего? Ну, сохранила... я тебе не раз сказывал. На вот, утрись полотенчиком... дешевые у тебя слезы. Ну, ломали мы дом на Пресне... ну, нашел я на чердаке старую иконку, ту вон... Ну, сошел я с чердака, стою на втором ярусу... – дай, думаю, пооботру-погляжу, какая Царица Небесная, лика-то не видать. Только покрестился, локотком потереть хотел... – ка-ак загремит все... ничего уж не помню, взвило меня в пыль!.. Очнулся в самом низу, в

бревнах, в досках, все покорежено... а над самой над головой у меня – здоровенная балка застряла! В плюшку бы меня прямо!.. – вот какая. А ребята наши, значит, кличут меня, слышу: «Панкратыч, жив ли?» А на руке у меня – Царица Небесная! Как держал, так и... чисто на крылах опустило. И не оцарапало нигде, ни царапинки, ни синячка... вот ты чего подумай! А это стену неладно покачнули – балки из гнездо и вышли, концы-то у них сгнили... как ухнут, так все и проломили, накаты все. Два яруса летел, с хламом... вот ты чего подумай!

Эту иконку, я знаю, Горкин хочет положить с собой в гроб – душе чтобы во спасение. И все я знаю в его камерке: и картинку Страшного Суда на стенке, с геенной огненной, и «Хождения по мытарствам преподобной Феодоры»<sup>5</sup>, и найденный где-то на работах, на сгнившем гробе, медный, литой, очень старинный крест с «адамовой главой»<sup>6</sup>, страшной... и пасочницу Мартына-плотника, вырезанную

---

<sup>5</sup> «Хождения по мытарствам преподобной Феодоры». – Речь идет о так называемом видении Феодоры из византийского «Жития Василия Нового» (X век). В православно-христианских представлениях души умерших искупают свою греховность мытарствами или муками соответственно количеству грехов. Видение Феодоры насчитывает 20 грехов (празднословие, лень, тунеядство, воровство и т. д.) и соответственно – 20 мытарств.

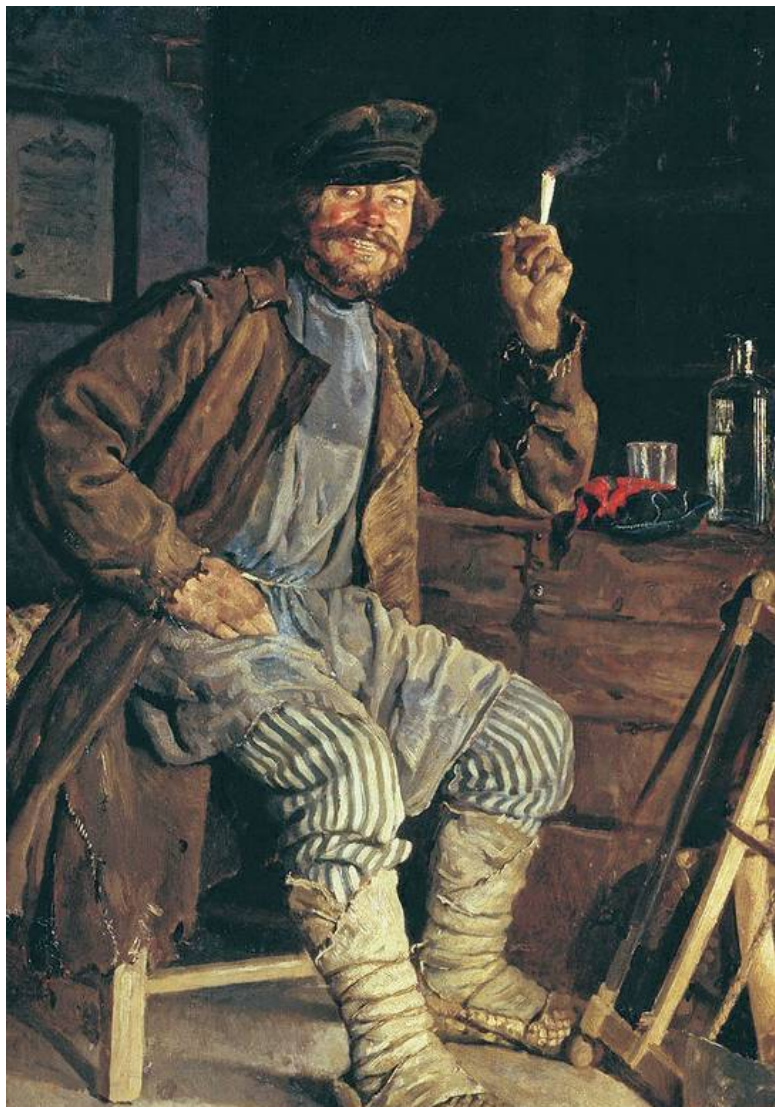
<sup>6</sup> ...очень старинный крест с «адамовой главой»... – В христианском богословии и иконографии образы «первого человека» Адама и Христа часто совмещались; так, место распятия Христа – Голгофа (букв. «место черепа») подчас изображалось и как могила Адама; у ног распятого (на иконах и крестах) часто изображался череп.

одним топориком. Над деревянной кроватью, с подпалинами от свечки, как жгли клопов, стоят на полочке, к образам, совсем уже серые от пыли просвирки из Иерусалима-града и с Афона, принесенные ему добрыми людьми, и пузырьчики с напетым маслицем, с вылитыми на них угодничками. Недавно Горкин мне мазал зуб, и стало гораздо легче.

– Аты мне про Мартына все обещался... топорик-то у тебя висит вон! С ним какое чудо было, а? Скажи-и, Горкин!..

Горкин уже не строгий. Он откладывает мешок, садится ко мне на подоконник и жестким пальцем смазывает мои слезинки.

– Ну, чего ты расстроился, а? Что ухожу-то... На доброе дело ухожу, никак нельзя. Вырастешь – поймешь. Самое душевное это дело – на богомолье сходить. И за Мартына помолюсь, и за тебя, милок, просвирку выну, на свечку подам, хороший бы ты был, здоровья бы те Господь дал. Ну, куда тебе со мной тягаться, дорога дальняя, тебе не дойти... по машине вот можно, с папашенькой соберешься. Как так я тебе обещался?.., я тебе не обещался. Ну, пошутил, может...



– Обещался ты, обещался... тебя Бог накажет! вот посмотри, тебя Бог накажет!.. – кричу я ему и плачу и даже грожу пальцем.

Он смеется, хватывает меня за плечи, хочет защекотать.

– Ну что ты какой настойный, самондравный! Ну, ладно, шуметь-то рано. Может, так Господь повернет, что и покажем с тобой по дорожке по столбовой... а что ты думаешь! Папашенька добрый, я его вот как знаю. Да ты погоди, послушай: расскажу тебе про нашего Мартына. Всего не расскажешь... а вот слушай. Чего сам он мне сказывал, а потом на моих глазах все было. И все сущая правда.

– Повел его отец в Москву на работу... – поокивает Горкин мягко, как все наши плотники, володимирцы и костромичи, и это мне очень нравится, ласково так выходит, – плотники они были, как и я вот, с нашей стороны. Всем нам одна дорожка, на Сергиев Посад. К Преподобному зашли... чугунки тогда и помину не было. Ну, зашли, все честь честью... помолились-приложились, недельку Преподобному пороботали топориком, на монастырь, да... пошли к Черниговской, неподалечку, старец там проживал – спасался. Нонче отец Варнава там народ утешает – благословляет, а то до него был, тоже хороший такой, прозорливец. Вот тот старец бла-

гословил их на хорошую работку и говорит пареньку, Мартыну-то: «Будет тебе талан от Бога, только не проступись!» Значит – правильно живи, смотри. И еще ему так сказал: «Ко мне-то побывай когда».

Роботали они хорошо, удачливо, талан у Мартына великой стал, такой глаз верный, рука надежная... лучшего плотника и не видал я. И по столярному хорошо умел. Ну, понятно, и по филенкам чистяга был, лучше меня, пожалуй. Да уж я те говорю – лучше меня, значит – лучше, ты не перебивай. Ну, отец у него помер давно, он один и стал в людях, сирота. К нам-то, к дедушке твоему покойному, Ивану Иванычу, Царство Небесное, он много после пристал – порядился, а все по разным ходил – не уживался. Ну, вот слушай. Талан ему был от Бога... а он, темный-то... – понимаешь, кто? – свое ему, значит, приложил: выучился Мартын пьянствовать. Ну, его со всех местов и гоняли. Ну, пришел к нам роботать, я его маленько поудержал, поразговорил душевно – ровесники мы с ним были. Разговорились мы с ним, про старца он мне и помянул. Велел я ему к старцу тому побывать. А он и думать забыл, сколько годов прошло. Ну, побывал он, ан – старец-то тот и помер уж, годов десять уж. Он и расстроился, Мартын-то, что не побывал-то, наказу его-то не послушал... совестью и расстроился. И с того дела к другому старцу и не пошел, а, прямо тебе сказать, в кабак пошел! И пришел он к нам назад в одной рваной рубашке, стыд глядеть... босой, топорик только при нем. Он без того

топорика не мог быть. Топорик тот от старца благословен... вон он самый, висит-то у меня, память это от него мне, от-казан. Уж как он его не пропил, как его не отняли у него – не скажу. При дедушке твоём было. Хотел Иван Иваныч его не принимать, а прабабушка твоя Устинья вышла с лестовкой...<sup>7</sup> молилась она все, правильная была по вере... и говорит: «Возьми, Ваня, грешника, приюти... его Господь к нам послал». Ну, взял. А она Мартына лестовкой поучила для виду, будто за наказание. Он три года и в рот не брал. Что получит – к ней принесет, за образа клала. Много накопил. Подошло ему опять пить, она ему денег не дает. Как разживется – все и пропьет. Стало его бесовать, мы его запирали. А то убить мог. Топор держит, не подступись. Боялся – топор у него покрадут, талан его пропадет. Раз в три года у него болезнь такая нападала. Запрет его – он зубами скрипит, будто щепу дерет, страшно глядеть. Силищи был невиданной... балки один носил, росту – саженный был. Боимся – ну, с топором убеет! А бабушка Устинья войдет к нему, погрозится лестовкой, скажет: «Мартынушка, отдай топорик, я его схо-роню!» – он ей покорно в руки, вот как.

Накопил денег, дом хороший в деревне себе построил, сестра у него жила с племянниками. А сам вдовый был, без-детный. Ну, жил и жил, с перемогами. Тройное получал! А теперь слушай про его будто грех...

Годов шесть тому было. Роботали мы по храму Христа

---

<sup>7</sup> Лестовка – кожаные четки.

Спасителя<sup>8</sup>, от больших подрядчиков. Каменный он весь, а и нашей роботки там много было... помосты там, леса ставили, переводы-подводы, то-се... обшивочки, и под кумполом много было всякого подмостья. Приехал государь поглядеть, спорные были переделки. В семьдесят в третьем, что ли, где, в августе месяце, тёпло еще было. Ну, все подрядчики по такому случаю артели выставили, показаться государю, Царю-Освободителю, Лександре Николаичу<sup>9</sup> нашему. Приодели робят в чистое во все. И мы с другими, большая наша была артель, видный такой народ... худого не скажу, всегда хорошие у нас харчи были, каши не поедали – отваливались. Вот государь посмотрел всю отделку, доволен остался. Выходит с провожатыми, со всеми генералами и князьями. И наш, стало быть, Владимир Ондреич, князь Долгоруков<sup>10</sup>, с ними, генерал-губернатор. Очень его государь жаловал. И наш еще Лександра Лександрыч Козлов, самый обер-польцмейстер, бравый такой, дли-инные усы, хвостами, хороший

---

<sup>8</sup> Работали мы по храму Христа Спасителя... – Храм Христа Спасителя – грандиозное сооружение, воздвигнутое на народные пожертвования в 1837–1883 годах в память Отечественной войны 1812 года (архитектор К. А. Тон, скульпторы П. К. Клодт, А. В. Логановский, Н. А. Рамазанов, Ф. П. Толстой, роспись В. В. Верещагина, К. Е. Маковского, В. И. Сурикова и др.). Взорван в 1931 году. Восстановлен в 90-х годах.

<sup>9</sup> ...Царю-Освободителю, Лександре Николаичу нашему. – В царствование императора Александра II манифестом от 19 февраля 1861 года было отменено крепостное право.

<sup>10</sup> Долгоруков Владимир Андреевич (1810–1891) – государственный деятель, с 1856 года до конца жизни московский генерал-губернатор.

человек, зря никого не обижал. Ну, которые начальство при постройке – показывают робят, рабочий народ. Государь поздоровался, покивал, да... сияние от него такое, всякие медали... «Спасибо, – говорит, – молодцы».

Ну, «ура» покричали, хорошо. К нам подходит. А Мартын первый с краю стоял, высокий, в розовой рубахе новой, борода седая, по сех пор, хороший такой ликом, благочестивый. Государь и приостановился, пондравился ему, стало быть, наш Мартын. Хорош, говорит, старик... самый русской! А Козлов-то князю Долгорукову и доложи: «Может государю его величеству глаз свой доказать, чего ни у кого нет».

А он, стало быть, про Мартына знал. Роботали мы в доме генерала-губернатора, на Тверской, против каланчи, и Мартын князю-то секрет свой и доказал. А по тому секрету звали Мартына так: «Мартын, покажи аршин!» А вот слушай. Вот князь и скажи государю, что так, мол, и так, может удивить. Папашенька перепугался за Мартына, и все-то мы забоялись – а ну проштрафится! А уж слух про него государю донесен, не шутки шутить. Вызывают, стало быть, Мартына. Государь ему и говорит, ничего, ласково: – «Покажи нам свой секрет».



*Сверчков Н. Е. Портрет императора Александра II*

«Могу, – говорит, – ваше царское величество... – Мартын-то, – дозвоьте мне реечку».

И не боится. Ну, дали ему реечку.

«Извольте проверить, – говорит, – никаких помет нету».

Генералы проверили – нет помет. Ну, положил он реечку ту, гладенькую, в полвершочка шириной, на доски, топорик свой взял. Все его обступили, и государь над ним встал...

Мартын и говорит: «Только бы мне никто не помешал, под руку не смотрел... рука бы не заробела».

Велел государь маленько пораздаться, не наседать. Перекрестился Мартын, на руки поплевал, на реечку пригляделся, не дотронулся, ни-ни... а только так вот над ней пядью помотал-помотал, привесился... – р-раз топориком! – мету и положил, отсек.

«Извольте, – говорит, – смерить, ваше величество».

Смерили аршинчиком клейменым – как влитой! Государь даже плечиками вскинул. «Погодите», – говорит Мартын-то наш. Провел опять пядью над обрезком, – раз, раз, раз! – четыре четверти проложил-пометил. Смерили – ни на волосок прошибки! И вершочки, говорит, могу. И проложил. Могу, говорит, и до восьмушек. Государь взял аршинчик его, подержал время...

«Отнесите, – говорит, – ко мне в покои сию диковинку и

запишите в царскую мою книгу беспрерывно!»

Похвалил Мартына и дал ему из кармана в брюках собственный золотой! Мартын тут его и поцеловал, золотой тот. Ну, тут ему наклали князья и генералы, кто целковый, кто трешну, кто четвертак... – попиrowали мы. А Мартын золотой тот царский под икону положил, навеки.

Ну, хорошо. Год не пил. И опять на него нашло. Ну, мы от него все поотобрали, а его заперли. Ночью он таки сбег. С месяц пропадал – пришел. Полез я под его образа глядеть – золотого-то царского и нет, пропил! Стали мы его корить: «Царскую милость пропил!»

Он божится: не может того быть! Не помнит: пьяный, понятно, был. Пропил и пропил. С того сроку он и пить кончил. Станем его дражнить: «Царский золотой пропил, доказал свой аршин!»

Он прямо побелеет, как не в себе. «Креста не могу пропить, так и против царского дару не проступлюсь!»

Помнил, чего ему старец наказывал – не проступись! А вышло-то – простудился будто. Ему не верят, а он на своем стоит. Грех какой! Ладно. Долго все тебе сказывать, другой раз много расскажу. И вот простудился он на ердани, закупался с немцем с одним, – я потом тебе расскажу<sup>11</sup>. Три месяца болел. На Великую Субботу мне и шепчет:

«Помру, Миша... старец-то тот уж позвал меня... – что ж, говорит, Мартынушка, не побываешь?» Во сне ему, ста-

---

<sup>11</sup> Рассказ «Крещенье», из книги «Лето Господне». (Примеч. И. С. Шмелева.)

ло быть, привиделся. «Дай-ка ты мне царский золотой... – говорит, – он у меня схоронен... а где – не могу сказать, затмение во мне, а он цел. Поищи ты, ради Христа, хочу поглядеть, порадоваться – вспомнать». И слова уж путает, затмение на нем. «Я, – говорит, – от себя в душу схоронил тогда... не может того быть, цел невредим».

Это к тому он – не пропил, стало быть. Сказал я папашеньке, а он пошел к себе и выносит мне золотой. Велел Мартыну дать, будто нашли его, не тревожился чтобы уж для смерти. Дал я ему и говорю: «Верно сказывал, сыскался твой золотой».

Так он как же возрадовался – заплакал! Поцеловал золотой и в руке зажал. Соборовали его, а он и не разжимает руку-то, кулаком, вот так вот, с ним и крестился, с золотым-то, рукой его уж я сам водил. На третий день Пасхи помер хорошо, честь честью. Вспомнили про золотой, стали отымать, а не разожмешь, никак! Уж долотом развернули, пальцы-то. А он прямо скипелся, влип в самую долонь, в середку, как в воск, закрайшкочков уж не видно. Выковыряли мы, подняли... а в руке-то у него, на самой на долони, – орел! Так и врезан, синий, отчетливый... царская самая печать. Так и не растаял, не разошелся, будто печать приложена, природная. Так мы его и похоронили, орленого. А золотой тот папашенька на сорокоуст подать приказал, на помин души. Хорошо... Что ж ты думаешь!.. Через год случилось: стали мы полы в спальнях перестилать – и что ж ты думаешь!.. Под его изголовьем,

где у него образок стоит... доски-то как подняли... на накате на черном... тот самый золотой лежит-светит!.. а?! Самый тот, царский, новешенькой-разновешенькой! Все сразу и признали. То ли он его обронил, как с-под иконы-то тащил пропивать, себя не помнил... то ли и вправду от себя спрятал, в щель на накат спустил... – «в душу-то от себя схоронил», сказывал мне тогда, помирал... Тут уж он перед всеми и оправдался: не проступился, вот! И все так мы обрадовались, панихиду с певчими по нем служили... хорошо было, весело так, «Христос Воскресе» пели, как раз на Фоминой<sup>12</sup> выпито-то. Подали тот золотой папашеньке... подержал-подержал...

«Отдать, – говорит, – его на церкву, на сорокоуст! Пускай, – говорит, – по народу ходит, а не лежит занапрасно... Это, – говорит, – золотой счастливый, непропавший!»

Так мне его желалось обменять, для памяти! Да подумал – пускай его по народу ходит, верно... зарочный он, не простой. И отдали. Так вот теперь и ходит по народу, нечуемо. Ну, как же его узнаешь... нельзя узнать. Вот те и рассказал. Вот, значит, и пойду к Преподобному, зарок исполню, Мартына помяну... Ну, вот... и опять захлюпал! Аты постой, чего я тебе скажу-то...

Я неутешно плачу Жалко мне и Мартына, что он помер...

---

<sup>12</sup> ...на Фоминой вышло-то. – Вторая неделя по Пасхе в православной церкви; согласно вероучению. Фома, один из двенадцати апостолов, не хотел верить воскресению Христа, и тогда Иисус явился к нему через восемь дней и дал ему ощупать свои раны.

так жалко! И что того золотого не узнаю, и что Горкин один уходит...

Приезжает отец – что-то сегодня рано, – кричит весело на дворе: «Горкин-старина!» Горкин бежит проворно, и они долго прохаживаются по двору. Отец веселый, похлопывает Горкина по спине, свистит и щелкает. Что-нибудь радостное случилось? И Горкин повеселел, что-то все головой мотает, трясет бородкой, и лицо ясное, довольное. Отец кричит со двора на кухню:

– Все к ботвинье, да поживей! Там у меня в кулечке, разберите!..

И обед сегодня особенный. Только сели, отец закричал в окошко:

– Горка-старина, иди с нами ботвинью есть! Ну-ну, мало что ты обедал, а ботвинья с белорыбицей не каждый день... не церемонься!

Да, обед сегодня особенный: сидит и Горкин, пиджачок надел свежий и голову намаслил. И для него удивительно, почему это его позвали: так бывает только в большие праздники. Он спрашивает отца, конфузливо потягивая бородку:

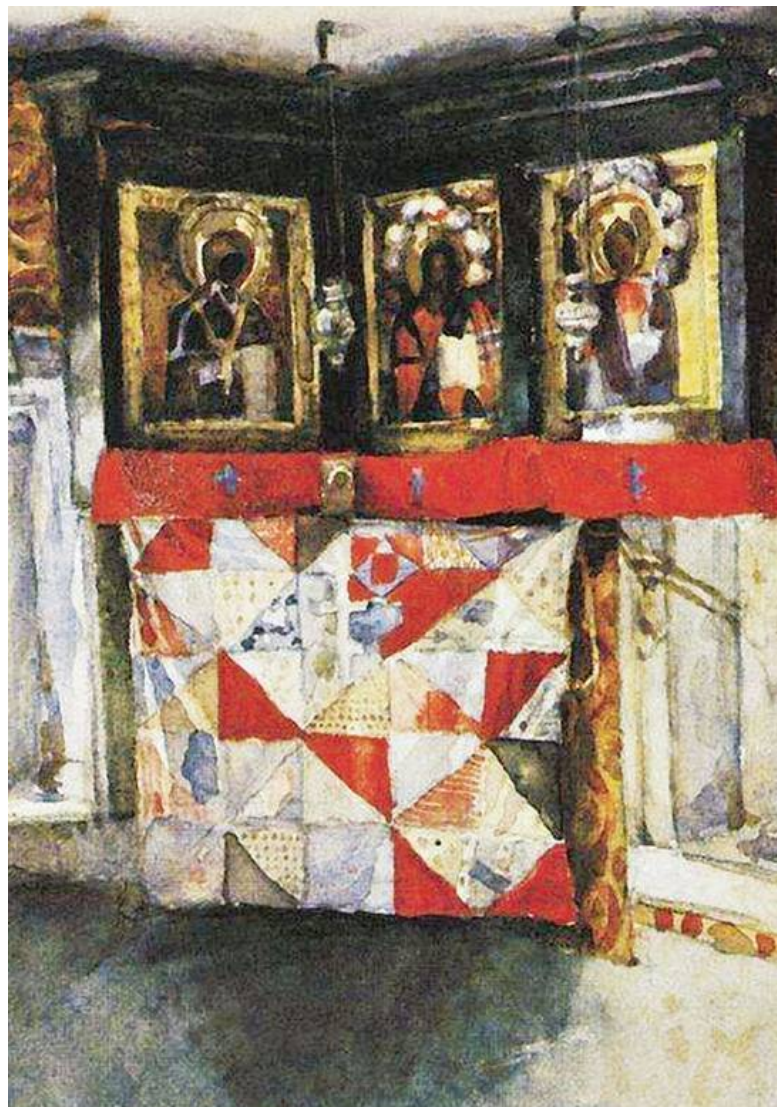
– Это на знак чего же... парад-то мне?

– А вот понравился ты мне! – весело говорит отец.

– Я уж давно пондравился... – смеется Горкин, – а хозяин велит – отказываться грех.

– Ну, вот и ешь белорыбицу.





Отец необыкновенно весел. Может быть, потому, что сегодня, впервые за столько лет, распустился белый, душистый такой цветочек на апельсинном деревце, его любимом?

Я так обрадовался, когда перед обедом отец кликнул меня из залы, схватил под мышки, поднес к цветочку и говорит: «Ну нюхай, нюня!»

И стол веселый. Отец сам всегда делает ботвинью. Вокруг фаянсовой, белой, с голубыми закраинками, миски стоят тарелочки, и на них все веселое: зеленая горка мелко нарезанного луку, темно-зеленая горка душистого укропу, золотенькая горка толченой апельсинной цедры, белая горка струганого хрена, буро-зеленая – с ботвиньей, стопочка тоненьких кружочков, с зернышками – свежие огурцы, мисочки льду хрустального, глыба белуги, в крупках, выпирающая горбом в разводах, лоскуты нежной белорыбицы, сочной и розовато-бледной, пленочки золотистого балычка с краснинкой. Все это пахнет по-своему, вязко, свежо и остро, наполняет всю комнату и сливается в то чудесное, которое именуется – ботвинья. Отец, засучив крепкие манжеты в крупных золотых запонках, весело все размешивает в миске, бухает из графина квас, шипит пузырьками пена. Жара: ботвинья теперь – как раз.

Все едят весело, похрустывая огурчиками, хрящами –

хру-хру. Обсасывая с усов ботвинью, отец все чего-то улыбается... Чему-то улыбается?

– Так... к Преподобному думаешь? – спрашивает он Горкина.

– Желается потрудиться... давно собираюсь... – смиренно-ласково отвечает Горкин, – как скажете... ежели дела дозволят.

– Да, как это ты давеча?.. – посмеивается отец. – «Делов-то пуды, а она – туды»?! Это ты правильно, мудрователь. Ешь, брат, ботвинью, ешь – не тужи, крепки еще гужи! Так когда же думаешь к Троице, в четверг, что ли, а? В четверг выйдешь – в субботу ко всенощной поспеешь.

– Надо бы поспеть. С Москвой считать, семь десятков верст... к вечерням можно поспеть и не торопиться... – говорит Горкин, будто уже они решили.

У меня расплывается в глазах: ширится графин с квасом, ширятся-растекаются тарелки, и прозрачные, водянистые узоры текут на меня волнами. Отец подымает мне подбородок пальцем и говорит:

– Чего это ты нюнишь? С хрену, что ль? Корочку понюхай.

Мне делается еще больней. Чего они надо мной смеются! Горкин – и тот смеется. Гляжу на него сквозь слезы, а он подмаргивает, слышу – толкает меня в ногу.

– Может, и мы подъедем... – говорит отец, – давно я не был у Троицы.

– Вот, хорошее дело, помолитесь... – говорит Горкин ра-

достно.

– Мы-то по машине, а его уж... – глядит на меня отец, прищурясь, – Бог с ним, бери с собой... пускай потрудится. С тобой отпустить можно.

Верить – не верить?..

– Уж будьте покойны, со мной не пропадет... радость-то ему какая! – радостно отвечает Горкин, и опять растекается у меня в глазах. Но это уже другие слезы.

– Ну, пусть так и будет. И Антипа с вами отпускаю... Крикую на подмогу, потащится. Устанет – попросится. Верно, брат... всех дедов не переделаешь. И передохнуть надо...

Верить – не верить?.. Я знаю: отец любит обрадовать.

Горкин моргает мне, будто хочет сказать, как давеча: «А что я те сказал! Папашенька добрый, я его вот как знаю!..»

Так вот о чем они говорили на дворе! И оттого стал веселый Горкин? И почему это так случилось?..

Я что-то понимаю, но не совсем. И почему все отец смеется, встряхивает хохлом и повторяет: «Всех делов, брат, не переделаешь... верно! Делов-то пуды, а *она* – туды!..»

Кто же это – *она*!..

Я что-то понимаю, но не совсем.

# Сборы

И на дворе, и по всей даже улице известно, что мы идем к Сергию Преподобному, пешком. Все завидуют, говорят: «Эх, и я бы за вами увязался, да не на кого Москву оставить!» Все теперь здесь мне скучно, и так мне жалко, что не все вдут с нами к Троице. Наши поедут по машине, но это совсем не то. Горкин так и сказал: «Эка, какая хитрость, по машине... а ты потрудись Угоднику, для души! И с машины – чего увидишь? А мы пойдем себе полегонечку, с лесочка на лесочек, по тропочкам, по лужкам, по деревенькам, – всего увидим. Захотел отдохнуть – присел. А кругом все народ крещеный, идет-идет. А теперь земляника самая, всякие цветы, птички тебе поют... – с машиной не поравнять никак».

Антипушка тоже собирается, ладит себе мешочек. Он сидит на овсе в конюшне, возится с сапогом. Показывает каблук, как хорошо набил.

– Я в сапогах пойду, как уж нога обыкла, – говорит он весело и все любит сапогом, как починил-то знатно. – Другие там лапти обувают, а то чуни для мягкости... а это для ноги один вред, кто непривычен. Кто в чем ходит – в том и иди. Ну, который человек лапти носит, ну... ему не годится в сапогах, ногу себе набьет. А который в сапогах – иди в сапогах. И Панкратыч в сапогах идет, и я в сапогах пой-

ду, и ты ступай в сапожках, в расхожих самых. А новенькие уж там обуешь, там щегольнешь. Какое тебе папашенька уважение-то сделал... Кривую отпускает с нами! Как-никак, а уж доберешься. Это Горкин все за тебя старался... – уж пустите с нами, уж доглядим, больно с нами идти охота. Вот и пустил. Больно парень-то ты артельный... А с машины чего увидишь!

– Это не хитро, по машине! – повторяю я с гордостью, и в ногах у меня звенит. – И Угоднику потрудиться, правда?

– Как можно! Он как трудился-то... тоже, говорят, плотничал, церкви строил. Понятно, ему приятно. Вот и пойдем.

Он укладывает в мешок «всю сбрую»: две рубахи – расхожую и парадную, новенькие портянки, то-се.

Я его спрашиваю:

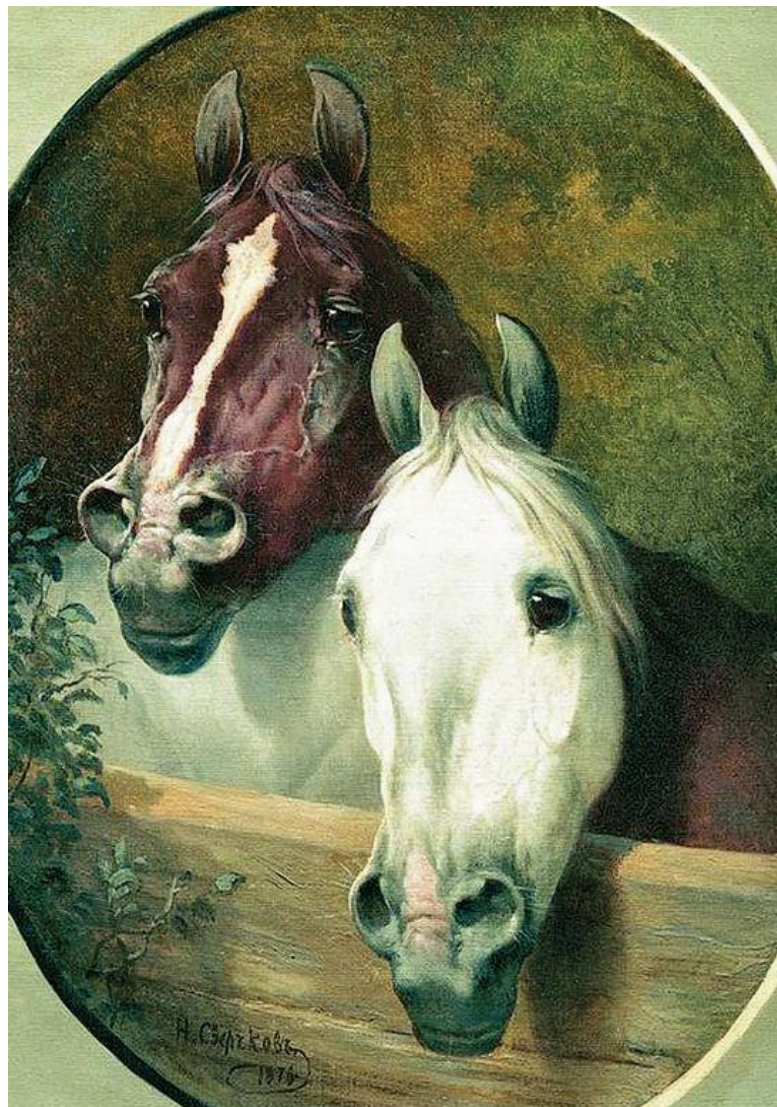
– А ты собираешься помирать? У тебя есть смертная рубаха?

– Это почему же мне помирать-то, чего вздумал! – говорит он, смеясь. – Мне и всего-то на седьмой десяток восьмой год пошел. Это ты к чему же?

– А... у Горкина смертная рубаха есть, и ее прихватывает в дорогу. Мало ли... в животе Бог... Как это?..

– А-а... вот ты к чему, ловкий какой... – смеется Антипушка на меня. – Да, в животе и смерти один Господь Бог волен, говорится. И у меня найдется похорониться в чем. У меня тоже рубаха неплохая, у Троицы надену, для причащения-приобщения, приведет Господь. А когда помереть кому

– это один Господь может знать. Ты вон намедни мне отчитал избасню-крылову... как дуб-то вон сломило в грозу, а соломинке ничего!..



H. Спирков  
1976

– Не соломинка. «Трость» называется!

– Это все равно. Тростинка, соломинка... Так и с каждым человеком может быть. Ну, еще чего отчитай, избасню какую.

Я говорю ему быстро-быстро «Стрекоза и Муравей»<sup>13</sup> – и прыгаю.

Он вдруг и говорит:

– Очень-то не пляши, напляшешь еще чего... ну-ка отдумают?..

Это нарочно он – попугать. Очень-то радоваться нельзя, я знаю: плакать бы не пришлось! Но будто и он боится: как бы не передумали. Утром он сказал Горкину: «Выбраться бы уж скорей, задержки бы какой не вышло». А ноги так и зудят, не терпится. Не было бы дождя?.. Антипушка говорит, что дождю не должно бы быть, – мухи гуляют весело, в конюшню не набиваются, и сегодня утром большая была роса в саду. И куры не обираются, и Бушуй не ложится на спину и не трется к дождю от блох. И все говорят, что погода теперь установилась, самая-то пора идти.

Господи, и Кривая с нами! Я забираюсь в денник, к Кривой, пролезаю под ее брюхом, а она только фыркает – при-

---

<sup>13</sup> «Дуб и трость» (1806) и «Стрекоза и муравей» (1808) – басни И. А. Крылова.

выкла. Спрашиваю ее в зрячий глаз, рада ли, что пойдет с нами к Преподобному. Она подымает ухо, шлепает мокрыми губами, на которых уже седые волосы, и тихо фырчит-фырчит – рада, значит. Пахнет жеваным теплым овсецом, молочным, – так сладко пахнет! Она обнюхивает меня, прихватывает губами за волосы – играет так. В черно-зеркальном ее глазу я вижу маленького себя, решетчатое оконце стойла и голубка за мною. Я пою ей недавно выученный стишок: «Ну, тащися, сивка, пашней-десятиной... красавица зорька в небе загорелась...»<sup>14</sup> Пою и похлопываю под губы – ну, тащися, сивка!.. Асам уже далеко отсюда. Идем по лужкам-полям, по тропочкам, по лесочкам... много крещеного народу. «Красавица зорька в небе загорелась, из большого леса солнышко выходит...»

Ну, тащися, сивка!..

– Ну и затейник ты... – говорит Антипушка, – за-тейник!.. С тобой нам не скушно идти будет.

– Горкин говорит... – молитвы всякие петь будем! – говорю я. – Так заведено уж, молитвы петь... компанией, правда? А Преподобный будет рад, что и Кривая с нами, а? Ему

---

<sup>14</sup> «Ну, тащися, сивка... красавица зорька в небе загорелась...» – Здесь и далее цитируется «Песня пахаря» (1831) А. В. Кольцова.

будет приятно, а?..

– Ничего. Он тоже, поди, с лошадками хозяйствовал. Он и медведю радовался, медведь к нему хаживал...<sup>15</sup> Он ему хлебца корочку выносил. Придет, встанет к сторонке под елку... и дожидается – покорми-и-и! Покормит. Вот и ко мне крыса ходит, не боится. Я и Ваську обучил, не трогает. В овес его положу, а ей свистну. Она выйдет с-под полу, а он только ухи торчком, жесткий станет весь, подрагивает, а ничего. А крыса тоже, на лапки встает, нюхается. И пойдет овес собирать. Лаской и зверя возьмешь, доверится.

Зовет Горкин:

– Скорей, папашенька под сараем, повозку выбираем!

Мелькает белый пиджак отца. Под навесом, где сложены сани и стоят всякие телеги, отец выбирает с Горкиным, что нам дать. Он советует легкий тарангасик, но Горкин настаивает, что в тележке куда спокойней, можно и полежать, и беседочку заплести от солнышка, натывать березок-елок, – и указывает легонькую совсем тележку – «как перышко!».

– Вот чего нам подходит. Сенца настелим, дерюжкой какой накроем – прямо тебе хоромы. И Кривой полегче, горошком за ней покатится.

Эту тележку я знаю хорошо. Она меньше других и вся в узорах. И грядки у ней, и подуги, и передок, и задок – все

---

<sup>15</sup> Он и медведю радовался, медведь к нему хаживал... – Житие преподобного Сергия Радонежского рассказывает, как Сергей приручил медведя и делился с ним хлебом; этот эпизод стал символическим для образа основателя Троице-Сергиевой лавры, нашел отражение в иконописи и живописи.

разделано тонкою резьбою: солнышками, колесиками, елочками, звездочками и разной затейной штучкой. Она ездила еще с дедушкой куда-то за Воронеж, где казаки, – красный товар возила. Отец говорит – стара. Да что-то ему и жалко. Горкин держится за тележку, говорит, что ей ничего не делается: выстоялась и вся в исправности, только вот замочит колеса. На ней и годов не видно, и лучше новой.

– А не рассыплется? – спрашивает отец и встряхивает, берет под задок тележку. – Звонко поедете.

– Верно, что зазвониста, суховата. А легкая-то зато кака, горошком так и покатится.

И Антипушка тоже хвалит: береза, обстоялась, ее хошь с горы кидай. И Кривой будет в удовольствие, а тарантас заморит.

– Ну, не знаю... – с сомнением говорит отец, – давно не ездила. А «лисица» как, не шатается?

Говорят, что и «лисица» крепкая, не шелохнется в гнездах, как впаяна. Очень чудно – «лисица». Я хочу посмотреть «лисицу», и мне показывают круглую, как оглобля, жердь, крепящую передок с задком. Но почему – лисица? Говорят – кривая, лесовая, хитрущая самая вещь в телеге, часто обманывает, ломается.

Отец согласен, но велит кликнуть Бровкина, осмотреть.

Приходит колесник Бровкин, с нашего же двора. Он всегда хмурый, будто со сна, с мохнатыми бровями. Отец зовет его – «недовольный человек».

– Ну-ка, недовольный человек, огляди-ка тележку, хочу к Троице с ними отпустить.

Колесник не говорит, обхаживает тележку, гукает. Мне кажется, что он недоволен ею. Он долго ходит, а мы стоим. Начинает шатать за грядки, за колеса, подымает задок, как перышко, и бросает сердито, с маху. И опять чем-то недоволен. Потом вдруг бьет кулаком в лубок, до пыли. Молча сры-вает с передка, сердито хрипит: «Пускай!» – и опрокидывает на кузов. Бьет обухом в задок, садится на корточки и слушает: как удар? Сплевывает и морщится. Слышу, как будто – ммдамм!.. – и задок уже без колес. Колесник оглаживает оси, стучит в обрезы, смотрит на них в кулак и вдруг – ударяет по «лисице». У меня сердце ёкает – вот ломает! Прыгает на «лисицу» и мнет ее. Но «лисица» не подает и скрипу. И все-таки я боюсь, как бы не расхулил тележку. И все боятся, стоят – молчат. Опять ставит на передок, оглаживает грядки и гукает. Потом вынимает трубочку, наминает в нее махорки, даже и не глядит, а все на тележку смотрит. Раскуривает долго, и кажется мне, что он и через спичку смотрит. Крепко затягивается, пускает зеленый дым, делает руки самоваром и грустно качает головой.

Отец спрашивает, прищурясь:



– Ну, как, недовольный человек, а? Плоха, что ли?

Спрашивает и Горкин, и голос его сомнительный.

– А, как по-твоему? Ничего тел ежонка... а?

Колесник шлепает вдруг по грядке, словно он рассердился на тележку, и взмахивает на нас рукою с трубкой:

– И где ее делали такую?! Хошь в Клев – за Киев поезжайте – сносу ей довеку не будет, – вот вам и весь мой сказ! Слажена-то ведь ка-ак, а!.. Что значит на совесть-то делана... а? Были мастера... Да разве это тележка, а?.. – смотрит он на меня чего-то, – не тележка это, а... детская игрушка! И весь разговор.

Так все и просияли. Наказал – шкворень разве переменить? Да нет, не стоит, живет и так. Даже залез в оглобли и выкатил на себе тележку. Ну прямо перышко!

– На такой ездить жалко, – говорит он, не хмурясь. – Ты гляди, мудровал-то как! За одной резьбой, может, недели три проваландался... А чистота-то, а ровнота-то какая, а! Знаю, тверской работы... пряники там пекут рисованы. А дуга где?

Находят дугу, за санками. Все глядят на дугу: до того вся рисована! Колесник вертит ее и так, и эдак, оглаживает и колукает ногтем, проводит по ней костяшками, и кажется мне, что дуга звенит – рубчиками звенит.

– Кружева! Только молодым кататься, пощеголять. Кар-

тина писаная!..

К нам напрашиваются в компанию – веселей идти будет, но Горкин всем говорит, что идти не заказано никому, а поселиться тут нечего, не на ярмарку собрались. Чтобы не обидеть, говорит:

– Вам с нами не рука, пойдем тихо, с пареньком, и четыре дня, может, протянемся, лучше уж вам не связываться.

Пойдет с нами Федя, с нашего двора, бараночник. Он из себя красавец, богатырь-парень, кудрявый и румяный. А главное – богомольный и согласный, складно поет на клиросе, и характер у него – лен. С ним и в дороге поспокойней. Дорога дальняя, все лесами. Идти не страшно, народу много идет, а бывает – припоздаешь, задержишься... а за Рахмановом овраги пойдут, мосточки, перегоны глухие, – с возов сколько раз срезали. А под Троицей Убитиков овраг есть, там недавно купца зарезали. Преподобный поохранит, понятно... да береженого и Бог бережет.

Еще с нами идет Домна Панферовна, из бань. Очень она большая, «сырая» – так называет Горкин, – с ней и прокантилишься, да женщина богомольная и обстоятельная. С ней и поговорить приятно, везде ходила. Глаза у ней строгие, губа отвисла, и на шее мешок от жира. Но она очень добрая. Когда меня водили в женские бани, она стригла мне ноготки и угощала моченым яблочком. Я знаю, что такого имени нет – Домна Панферовна, а надо говорить – Домна Парфенов-

на, но я не мог никак выговорить, и всем до того понравилась, что так и стали все называть – Панферовна. А отец даже напевал – Пан-фе-ровна! Очень уж была толстая, совсем – Пан-фе-ровна. Она и пойдет с нами, и за мною поприглядит, все-таки женский глаз. Она и костоправка, может и живот поправить, за ноги как-то встряхивает. А у Горкина в ноге какая-то жила отымается, заходит – она и выправит.

С ней пойдет ее внучка – учится в белошвейках, старше меня, тихая девочка Анюта, совсем как куколка, – все только глазками хлопает и молчит, и щечки у ней румяно-белые. Домна Панферовна называет ее за эти щечки – «брусничника ты моя беленькая-свеженькая».

Напрашивался еще Воронин-булочник, но у него «слабость», запивает, а человек хороший, три булочных у него, обидеть человека жалко, а взять – намаешься. Подсылали к нему Василь Василича – к Николе-на-Угреши<sup>16</sup> молиться звать, там работа у нас была, но Воронин и слушать не хотел. Хорошо – брат приехал и задержал, и поехали они на Воробьевку, к Крынкину, на Москву смотреть. Мы уж от Троицы вернулись, а они все смотрели – Господь отнес.

К нам приходят давать на свечи и на масло Угоднику и просят вынуть просvirки, кому с Троицей на головке, кому – с Угодником. Все надо записать, сколько с кого получено и

---

<sup>16</sup> ...к Николе-на-Угреши молиться... – Речь идет о Николо-Угрешском монастыре, основанном в конце XIV века Дмитрием Донским, который в 1380 году, двигаясь с войсками на Куликово поле, там останавливался.

на что. У Горкина голова заходится, и я ему помогаю. Святые деньги с записками складываем в мешочек. Есть такие, что и по десяти просвирок заказывают, разных – и за гривенник, и за четвертак даже. Нам одним – прикинул на счетах Горкин – больше ста просвирок придется вынуть – и родным и знакомым, а то могут обидеться: скажут – у Троицы были, а «милости» и не принесли.

Антипушка уже мыл Кривую и смазал копытца дочерна – словно калошки новые. Приходил осмотреть кузнец, в порядке ли все подковы и как копыта. Тележка уже готова, колеса и оси смазаны, – и будто дорогой пахнет. Горкин велит привернуть к грядкам пробойники, поаккуратней как, – ветки воткнем на случай, беседочку навесим, – от солнышка либо от дождичка укрыться. Положен мешок с овсом, мягко набито сеном, половичком накрыто – прямо тебе постеля! Сшили и мне мешочек, на полотенчике, как у всех. А пошонок вырежем в дороге, ореховый: Сокольниками пойдем, орешнику там... – каждый себе и выберет.

Все осматривают тележку, совсем готовую, – поезжай. Господь даст, завтра пораньше выйдем, до солнышка бы Москвой пройти, по холодочку. Дал бы только Господь хорошую погоду завтра!

Мне велят спать ложиться, а солнышко еще и не садилось. А вдруг без меня уйдут? Говорят – спи, не разговаривай, уж пойдешь. Потому и Кривая едет. Я думаю, что верно. Говорят: Горкин давно уж спит, и Домна Панферовна храпит, по-

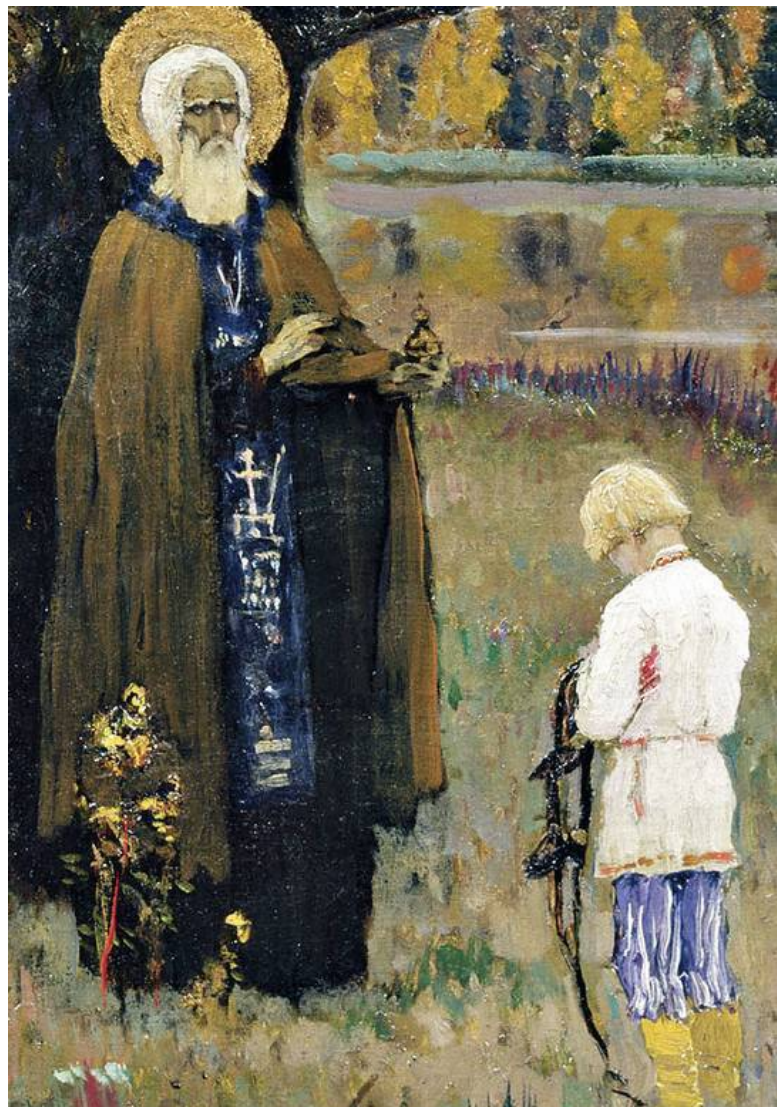
слушай.

Я иду проходной комнаткой к себе. Домна Панферовна спит, накрывшись, совсем гора. Сегодня у нас ночует: как бы не запоздать да не задержать. Анюта сидит тихо на сундуке, говорит мне, что спать не может, все думает, как пойдём. Совсем как и я – не может. Мне хочется попугать ее, рассказать про разбойников под мостиком. Я говорю ей шепотом. Она страшно глядит круглыми глазами и жметя к стенке. Я говорю – ничего, с нами Федя идет большой, всех разбойников перебьет.

Анюта крестится на меня и шепчет:

– Воля Божия. Если что кому на роду написано – так и будет. Если надо зарезать – и зарежут, и Федя не поможет. Спроси-ка бабушку, она все знает. У нас в деревне старика одного зарезали, отняли два рубля. Против судьбы не пойдешь. Спроси-ка бабушку., она все знает.

От ее шепота и мне делается страшно, а Домна Панферовна так храпит, будто ее уже зарезали. И начинает уже темнеть.



– Ты не бойся, – шепчет Анюта, озираясь, зачем-то сжимает щечки ладошками и хлопает все глазами, боится буд-то, – молись великомученице Варваре. Бабушка говорит – тогда ничего не будет. Вот так: «Святая великомученица Варвара, избави меня от напрасныя смерти, от часа ночного обстоянного»... от чего-то еще?.. Ты спроси бабушку, она все...

– А Горкин, – говорю я, – больше твоей бабушки знает! Надо говорить по-другому... Надо – «всякаго обуревания и навета, и обстояния... избавь и спаси на пути-дороге, и над постое, и на... ходу!» Горкин все знает!

– А моя бабушка костоправка, и животы правит, и во всяких монастырях была... Горкин – умный старик, это верно... и бабушка говорит... У бабушки ладанка из Иерусалима с косточкой... от мощей... всегда на себе носит!

Я хочу поспорить, но вспоминаю, что теперь грех, – душу надо очистить, раз идем к Преподобному. Я иду в свою комнату, вижу шарик от солитера, хрустальненький, с разноцветными ниточками внутри... и мне вдруг приходит в голову удивить Анюту. Я бегу к ней на цыпочках. Она все сидит, поджавши ноги, на сундуке. Я спрашиваю ее, почему не спит. Она берет меня за руку и шепчет: «Бою-усь... разбойников бою-усь...» Я показываю ей хрустальный шарик и

говорю, что это волшебный и даже святой шарик... будешь держать в кармане – и ничего не будет! Она смотрит на меня, правду ли говорю, и глаза у ней будто просят. Я отдаю ей шарик и шепчу, что такого шарика ни у одного человека нет, только у меня и есть. Она прячет его в кармашек.

Я не могу заснуть. На дворе ходят и говорят. Слышен голос отца и Горкина. Отец говорит: «Сам завтра провожу, мне надо по делам рано!» Лежу и думаю, думаю, думаю... – о дороге, о лесах и оврагах, о мосточках... где-то далеко-далеко – Угодник, который теперь нас ждет. Все думаю, думаю – и вижу... – и во мне начинает петь, будто не я пою, а что-то во мне поет, в голове, такое светлое, розовое, как солнце, когда его нет на небе, но оно вот-вот выйдет. Я вижу леса-леса и большой свет над ними, и все поет, в моей голове поет...

Красавица зорька...  
В небе за-го-ре...лась...  
Из большого ле...са...  
Солнышко-о... выходит...

Будто отец поет?..

Кричат петухи. Окна белеют в занавесках. Кричат на дворе. Горкин распоряжается:

– Пора закладывать... Федя здесь?.. Час нам легкой, по холодку и тронемся, Господи, благослови...

Отец кричит – знаю я – из окна сеней:

– Пора и богомольца будить! Самовар готов?..

До того я счастлив, что слезы набегают в глазах. Заря – и сейчас пойдем! И отдается во мне чудесное, такое радостное и светлое, с чем я заснул вчера, певшее и во сне со мною, светающее теперь за окнами:

Красавица зо-рька

В небе за-го-ре...лась...

Из большого ле...са

Солнышко-о выходит...

# Москвой

Из окна веет холодком зари. Утро такое тихое, что слышно, как бегают голубки по крыше и встряхивается со сна Бушуй. Я минутку лежу, тянусь; слушаю – петушки поют, голос Горкина со двора, будто он где-то в комнате:

– Тяжи-то бы подтянуть, Антипушка... да охачку бы сенца еще!

– Маленько подтянуть можно. Погодку-то дал Господь...

– Хорошо, жарко будет. Кака роса-то, крыльцо все мокрое. Бараночек, Федя, прихватил?.. Это вот хорошо с чайком.

– Покушайте, Михал Панкратыч, только из печи выкинули.

Слышно, как ломают они бараночки и хрустят. И будто пахнет баранками. Все у крыльца, за домом. И Кривая с тележкой там, подковками чокает о камни. Я подбегаю к окошку крикнуть, что я сейчас. Веет радостным холодком, зарей. Вот какая она, заря-то!

За Барминихиным садом небо огнистое, как в пожар.

Солнца еще не видно, но оно уже светит где-то. Крыши сараев в бледно-огнистых пятнах, как бывает зимой от печки. Розовый шест скворешника начинает краснеть и золотиться, и над ним уже загорелся прутик. А вот и сараи золотятся. На гребешке амбара сверкают крыльями голубки, вспыхива-

ет стекло под ними: это глядится солнце. Воздух... пахнет как будто радостью.

Бежит с охапкой сенца Антипушка, захлопывает ногой конюшню. На нем черные, с дегтя, сапоги – а всегда были рыжие, желтый большой картуз и обвислый пиджак из парусины Василь Василича, «для жары»; из кармана болтается веревка.

– Дегтянку-то бы не забыть!.. – заботливо окликает Горкин, – поилка, торбочка... ничего словно не забыли. Чайку по чашечке – да и с Богом. За Крестовской, у Брехунова, как следует напьемся, не торопясь, в садочке.

И я готов. Картузик на мне соломенный, с лаковым козырьком; суровая рубашка, с петушками на рукавах и воротах; расхожие сапожки, чтобы ноге полегче, новые там надеву. Там... Вспомнишь – и дух захватит. И радостно, и... не знаю что. Там – все другое, не как в миру... Горкин рассказывал: церкви всегда открыты, воздух – как облака, кафельный... и все поют: «И-зве-ди из темницы ду-шу моюуу!..»<sup>17</sup> Прямо душа отходит.

Пьем чай в передней, отец и я. Четыре только прокуковало. Двери в столовую прикрыты, чтобы не разбудить. Отец тоже куда-то едет: на нем верховые сапоги и куртка. Он пьет из граненого стакана пунцовый чай, что-то считает в кни-

---

<sup>17</sup> «И-зве-ди из темницы ду-шу моюуу!..» – Псалтырь, псалом 141, 7: «Выведи из темницы душу мою...»

жечке, целует меня рассеянно и строго машет, когда я хочу сказать, что наш самовар стал розовый. И передняя розовая стала, совсем другая!

– Поспеешь, ногами не сучи. Мажь вот икорку на калачик.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.